

ЧАРЛ



Чарльз Диккенс

Большие надежды

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18397787

Аннотация

«Большие надежды» – роман известного английского писателя Чарльза Диккенса***. В центре сюжета произведения – история жизни молодого человека Филиппа Пиррипа, прозванного в детстве Пипом, чьи радужные надежды о карьере, положении в обществе и любви потерпели крах. Роман имеет глубокую социально-философскую идейную направленность, автор критикует сытую обеспеченность и чопорность аристократов, акцентирует внимание на моральной деградации светского общества. Произведение «Большие надежды» является шедевром мировой литературной классики, оно было неоднократно экранизировано.

Содержание

II	7
III	12
IV	15
V	20
VI	26
VII	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Диккенс Чарльз

Большие надежды

Фамилия отца моего была Пиррип, а имя, данное мне при св. крещении, Филипп. Из этих-то двух имен еще в детстве вывел я нечто среднее – Пип, похожее на то и на другое. Так-то назвал я себя Пипом да и пошел по белому свету. – Пип да Пип, меня иначе и не звали.

Что отца моего действительно звали Пиррипом, в этом я могу сослаться на двух свидетелей: надпись на его надгробном камне и сестру мою, мистрис Джо Гарджери, вышедшую замуж за кузнеца. Так как я не помнил ни отца, ни матери и никогда не видал их изображений (они жили еще в дофотографическую эпоху), то детское воображение мое рисовало их образы, бессмысленно и непосредственно руководствуясь одними только их надгробными надписями. Очертание букв отцовской надгробной навело меня на странную мысль, что отец мой был плотный, приземистый и мрачный человек, с курчавыми черными волосами. Почерк надписи: «Тожь Джорджиана, жена вышереченного» привел меня к детскому заключению, что матушка моя была рябая и болезненная. Пять маленьких плит, по полутора фута длиною каждая, окружали могилу моих родителей и были посвящены памяти пяти маленьких братьев моих, умерших в раннем возрасте, не испробовав сил своих в жизненной борьбе. Этим маленьким могилкам я обязан убеждением, религиозно мною хранимым, что все они родились лежа на спине, заложив руки в карманы, и в продолжение всей своей жизни никогда их оттуда не вынимали.

Страна наша была болотистая и лежала вдоль реки, в двадцати милях от моря. Первое живое, глубокое впечатление... как бы сказать, пробуждение в жизни действительной, сколько я помню, я ощутил в один мне памятный, сырой и холодный вечер. Тогда я впервые вполне убедился, что это холодное место, заросшее крапивой – кладбище; что здешнего прихода Филипп Пиррип и Тожь Джорджиана, жена вышереченного, умерли и похоронены; что Александр, Варфоломей, Абрам, Тобиас и Роджер, малолетние дети вышереченных, тоже умерли и похоронены; что мрачная, плоская степь за кладбищем, пересекаемая по всем направлениям плотинами и запрудами, с пасущимся на ней скотом – болото; что темная свинцовая полоса, окаймлявшая болото – река; что далекое, узкое логовище, где рождались ветры – море, и что маленькое существо, дрожащее от страха и холода и начинавшее хныкать – Пип.

– Перестань выть! – раздался страшный голос и в то же время из могил близ церковной паперти приподнялась человеческая фигура. – Замолчи, чертёнок, не то шею сверну!

Страшно было смотреть на этого человека, в грубом сером рубище и с колодкой на ноге. На голове у него, вместо шляпы, была повязана старая тряпка, а на ногах шлёпали изодранные башмаки. Человек этот был насквозь промокший, весь забрызган грязью, обожжен крапивой, изрезан камнями, изодран шиповником; он шел прихрамывая, дрожал от холода, грозно сверкал глазами и сердито ворчал. Подойдя ко мне, он схватил меня за подбородок, щелкая зубами.

– Ай! не убивайте меня, сэр! – упрашивал я, в ужасе: – Ради Бога не убивайте меня, сэр.

– Как тебя зовут? – сказал человек: – живей!

– Пип, сэр.

– Повтори-ка еще, – сказал человек, пристально глядя на меня. – Не жалея глотки!

– Пил, Пип, сэр.

– Говори: где живешь? – сказал человек. – Укажи: в какой стороне?

Я указал на плоский берег реки, где виднелась наша деревня, окруженная ольховой рощицей и подстриженными деревцами, в расстоянии около мили от церкви.

Он поглядел на меня с минуту, потом схватил меня, повернул вверх ногами и вытряс мои карманы. В них ничего не оказалось, кроме ломтя хлеба. Он так сильно и неожиданно опрокинул меня, что в глазах у меня зарябило, все окружавшие предметы завертелись и шпиль церкви пришелся, как раз, у меня между ногами. Когда церковь очутилась за прежнем месте, я сидел на высоком камне, дрожа от страха, а он жадно уничтожал мой хлеб.

– Ах, ты, щенок! – сказал он, облизываясь: – какие у тебя, брат, жирные щеки.

Я думаю, они действительно были жирны, хотя в то время я был мал не по летам и некрепкого сложения.

– Черт возьми! отчего бы мне их не съесть? – сказал страшный человек, грозно кивая головой: – да, я, кажется, это и сделаю.

Я выразил искреннюю надежду, что он этого не сделает, и еще крепче ухватился за камень, за который он меня посадил, частью для того, чтоб не упасть с него, частью, чтоб удержаться от слез.

– Ну, так слушай! – крикнул он: – где твоя мать?

– Вот, здесь, сэр, – сказал я.

Он быстро взглянул в ту сторону, отбежал немного, приостановился и оглянулся.

– Вот, здесь, сэр, – несмело пояснил я: – «Тожь Джоржиана». Это моя мать.

– А! – сказал он, возвращаясь. – А это твой отец похоронен возле матери?

– Да, сэр, – сказал я: – он тоже был здешнего прихода.

– Гм! – пробормотал он в раздумье. – У кого же ты живешь – может быть, я тебя оставлю в живых, на что еще не совсем решился?

– У сестры, сэр, мистрис Джо Гарджери, жены кузнеца, Джо Гарджери, сэр.

– Кузнеца, гм! – сказал он и взглянул на свою ногу.

Мрачно посмотрев несколько раз то на меня, то на свою ногу, он еще ближе подошел ко мне, схватил меня за обе руки и потрянул изо всей силы. Глаза его были грозно устремлены на меня, а я беспомощными взорами молил его о пощаде.

– Ну, слушай, – сказал он: – дело идет о том: оставаться тебе в живых или нет? Ты знаешь, что такое напилоч?

– Да, сэр.

– Ну, и знаешь, что такое съестное?

– Знаю, сэр.

После каждого вопроса он меня снова встряхивал, чтоб дать мне более почувствовать мое беспомощное положение и угрожавшую мне опасность.

– Достань мне напилоч – и он потрянул меня. – Достань мне чего-нибудь поесть. – И он потрянул меня. – Принеси мне то и другое. – И он потрянул меня. – Или я у тебя вырву сердце и печеньку. Он опять потрянул меня.

Я был в ужасном страхе, голова кружилась; я припал к нему обеими руками и сказал:

– Если вы будете так добры, позвольте мне стоять прямо, сэр: меня не будет тошнить и я лучше вас пойму.

Тут он меня кувырнул с такой силою, что мне показалось, будто церковь перепрыгнула через свой же шпиль, потом приподнял меня за руки в вертикальном положении над камнем, и продолжал:

– Завтра рано поутру ты принесешь мне напилоч и пищу. Все это ты принесешь туда, на старую батарею. Ты сделаешь, как я тебе приказываю и никогда никому об этом словечка не промолвишь; никогда не признаешься, что ты видел такого человека, как я, и тогда я оставлю тебя в живых. Если ты в чем-нибудь меня не слушаешь, хоть на самую малость, твое сердце и печеньку у тебя вырежут и съедят. Я тебе еще скажу, что я не один, как ты, может, это думаешь. У меня есть молодчик, перед которым я ангел. Этот молодчик слышит все, что я тебе теперь говорю. У него есть особый секрет, как добираться до мальчишки, до

его сердца и печенки: напрасно мальчишка будет прятаться от этого молодчика. Напрасно мальчишка будет запираť дверь своей комнаты; ложась в теплую постель, напрасно будет кутаться с головой в одеяло: он будет думать, что он в покое и вне опасности – как бы ни так, мой молодчик потихоньку подползет; подкрадется – и тогда беда мальчишке. Я теперь удерживаю этого молодчика, чтоб он тебя не растерзал, и то с трудом. Ну, что же ты скажешь на это?

Я отвечал, что я ему достану напилочек и все, что сумею достать съестного, и все принесу на батарею рано утром на следующий день.

– Ну, скажи: «убей меня Бог!» – сказал человек.

Я побожился, и он снял меня с камня.

– Ну, – продолжал он: – так помни же, за что ты взялся, и не забывай моего молодчика. Отправляйся домой.

– По... покойной ночи, сэр, – сказал я дрожащим голосом.

– Очень покойной, – сказал он, окидывая взором холодную и сырую равнину. – Будь я лягушкой или угрем!

И, обхватив руками свое дрожавшее от холода тело, словно опасаясь, чтоб оно не развалилось, он поплелся, прихрамывая, в низкой церковной ограде. Я смотрел ему вслед. Он шел, пробираясь между крапивой и кустарником, которыми заросла ограда; мне казалось, будто он избегал мертвецов, которые высывались из могил, стараясь ухватить его за пятку, чтоб затащить к себе.

Когда он добрался до низкой церковной ограды, он перелез через нее, как человек, у которого ноги были как палки, и потом еще раз оглянулся на меня. Увидев, что он смотрит на меня, я пустился бегом домой. Пробежав немного, я оглянулся: он продолжал идти к реке, поддерживая себя руками и пробираясь с своей больной ногой между большими камнями, набросанными здесь и там по болоту, для удобства переходов, на случай больших дождей или прилива.

Болото показалось мне длинной, черной полосой на горизонте, когда я снова остановился и поглядел ему в след; река являлась другою такою же полосой, только темнее и уже; небо представляло ряд длинных, багровых и черных, перемежавшихся полос. На берегу реки я только мог различить два предмета, поднимавшихся над поверхностью земли: веху, поставленную рыбаками в виде шеста, с изломанным бочонком наверху, очень некрасивую штуку вблизи, и виселицу с болтавшимися на ней цепями, на которой во время оно был повешен морской разбойник. Человек этот пробирался к виселице, как будто он был тот самый разбойник, восставший из мертвых, чтоб снова повеситься. Эта мысль произвела на меня страшное впечатление; смотря на скот, который поднимал головы и глядел ему вслед, я задавал себе вопрос: «не ужели и скот думает то же?» Я осмотрелся во все стороны, думая, не увижу ли где страшного молодчика, но не было и признаков его. Мне опять стало страшно и я побежал без оглядки домой.

II

Сестра моя, мистрис Джо Гарджери, была двадцатью годами старше меня; она составила себе огромную известность во всем околотке тем, что вскормила меня «рукою». Мне самому приходилось добираться до смысла этого выражения, и потому, зная, как она любила тузить меня и Джо своею тяжелою рукою, я пришел к тому убеждению, что мы оба с Джо вскормлены рукою.

Сестра моя была некрасива собой, и я полагал, что, должно быть, она и жениться на себе заставила Джо рукою. Джо был молодец и, лицо его окаймляли пышные, белокурые локоны, а неопределенно голубой цвет его глаз, казалось, сливался с снежною белизною белка. Вообще, он был отличного нрава человек, добрый, кроткий, сговорчивой, простой, но, с тем вместе, прекрасной малой, нечто в роде Геркулеса и по физической силе, и по нравственной слабости.

Сестра моя, брюнетка с черными глазами и волосами, имела кожу до того красную, что я часто думал, не моется ли она, вместо мыла, мускатным орехом. Она была высока ростом, очень костлява и почти постоянно носила толстый передник, завязанный сзади; он кончался спереди жестким нагрудником, в котором натканы были иголки и булавки. Она считала высокою добродетелью носить этот передник, а Джо постоянно укоряла им. Я, однако, не вижу причины, почему ей необходимо было его носить, или, если уж она его носила, то отчего не снимала его по целым дням?

Кузница Джо примыкала к нашему дому, деревянному, как большая часть домов в нашей стороне в те времена. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была заперта, и Джо сидел один одинехонек в кухне. Мы с Джо одинаково страдали от ига моей сестры, и потому жили душа в душу. Не успел я открыть двери, как Джо крикнул мне:

– Мистрис Джо уже раз двенадцать выходила тебя искать, Пип. Она и теперь затем же вышла.

– Неужели?

– Да, Пип, – сказал Джо: – и, что хуже всего, она взяла с собою хлопушку.

При этом страшном известии, я схватился за единственную пуговицу, оставшуюся на моей жилетке, и вперил отчаянный взор на огонь. Хлопушкой мы называли камыш, с тоненьким навощенным кончиком, совершенно-сглаженным от час прикосновения с моим телом.

– Она садилась, – продолжал Джо: – и снова вставала. Наконец, она вышла из себя и схватила хлопушку. Вот что! – Джо медленно начал мешать уголья ломом под нижнюю перекладинкою. – Слышь, Пип, она вышла из себя.

– А давно она вышла, Джо? – спросил я.

С Джо я обходился всегда, как с большим ребенком, равным мне во всех отношениях.

– Ну, – сказал Джо, взглянув на старинные часы: – она вышла из себя, вот, уж минут пять будет Пип. Слышь, она идет. Спрячься за дверь, старый дружище.

Я послушался его совета. Сестра моя, войдя, настежь распахнула дверь и, заметив, что она не отворяется как следует, тотчас же догадалась о причине и, не говоря дурного слова, начала работать хлопушкою. Она кончила тем, что бросила меня на Джо, который рад был всегда защитить меня, и потому, спокойно пихнув меня под навес камина, он заслонил меня своею огромною ногою.

– Где ты шатался, обезьяна ты этакая? – кричала мистрис Джо, топая ногами. – Сейчас говори, что ты делал все это время. Вишь, вздумал пугать меня! А то смотри, я тебя вытащу из угла, будь там с полсотни Пипов и полтысячи Гарджери.

– Я только ходил на кладбище, – сказал я, сидя на стуле и продолжая плакать и тереть рукою свое бедное тело.

– На кладбище! – повторила сестра. – Если б не я, давно б ты там был. Кто тебя вскормил от руки – а?

– Вы, – отвечал я.

– А зачем я это сделала – а? – воскликнула сестра.

– Не знаю, – прохныкал я.

– И я не знаю, – продолжала мистрис Джо. – Знаю только, что в другой раз этого не сделаю. Справедливо могу сказать, что передника с себя не снимала с тех пор, как ты родился. Довольно скверно уже быть женою кузнеца (да еще Гарджери), а тут еще будь тебе матерью?

Разнородные мысли толпились в моей голове, пока я смотрел на огонь. Я начинал вспоминать и колодника на болоте, и таинственного молодчика, и обещание обокрасть тех, кто приютил меня; мне показалось, что даже красные угли смотрели на меня с укоризною.

– А! – сказала мистрис Джо, ставя на место орудие пытки. – На кладбище, в самом деле! Конечно, кому, как не вам упоминать о кладбище. (Хотя, замечу в скобках, Джо вовсе не упоминал о нем.) В один прекрасный день свезете меня на кладбище. Вот уж будет парочка без меня!

Мистрис Джо начала готовить чай, а Джо нагнулся ко мне и как будто обсуждал, какую именно парочку мы бы составили при столь несчастном обстоятельстве. После этого он молча расправлял свои кудри и бакенбарды, – следя глазами за всеми движениями моей сестры, что он всегда делал в подобных случаях.

Мистрис Джо имела известную манеру готовить нам хлеб с маслом. Прежде всего она крепко прижимала хлеб к своему переднику, отчего часто булавки и иголки попадали в хлеб, а потом к нам в рот. Потом она брала масло (не слишком много) и ножом намазывала его на хлеб, словно готовя пластырь; живо действовала обеими сторонами ножа и искусно очищала корку от масла. Наконец, проведя последний раз ножом по пластырю, она отрезывала толстый ломоть хлеба, делила его пополам и давала каждому из нас по куску. Хотя я был очень голоден, но не смел есть своей порции; я чувствовал, что необходимо было запасти чего-нибудь съестного для моего страшного колодника. Я хорошо знал, как аккуратна и экономна в хозяйстве мистрис Джо, и потому могло случиться, что я ничего не нашел бы украсть в кладовой. На этом основании я решился не есть своего хлеба с маслом, а спрятать его, сунув в штаны.

Но решиться на такое дело было не очень легко. Мне казалось, что не труднее было бы решиться прыгнуть с высокой башни, или кинуться в море. Джо, не знавший моей тайны, увеличивал еще тягость моего положения. Как уже сказано, мы находились с Джо в самых дружеских, почти братских отношениях; так у нас был обычай по вечерам есть вместе наши ломти хлеба с маслом и, время от времени откусив кусок, сравнивать оставшиеся ломти, поощряя таким образом друг друга в дальнейшем состязании. В этот памятный вечер Джо несколько раз приглашал меня начать наше обычное состязание, показывая мне свой быстро уничтожавшийся ломоть. Но я все сидел как вкопанный; на одном колене у меня стояла кружка с молоком, а на другом покоился мой неначатый ломоть. Наконец, я пришел к тому убеждению, что если делать дело, то лучше придать ему самый правдоподобный вид. Я воспользовался минутой, когда Джо не смотрел на меня, и проворно опустил ломоть хлеба с маслом в штаны. Джо, по-видимому, беспокоился обо мне, думая, что у меня пропал аппетит; он кусал свой ломоть задумчиво и, казалось, без всякого удовольствия. Необыкновенно долго вертел он каждый кусок во рту, долго раздумывал и наконец глотал его, как пилюлю. Он готовился откусить еще кусочек и, наклонив голову на сторону, вымерял глазом сколько захватить зубами, когда вдруг заметил, что мой ломоть исчез с моего колена.

Джо так изумился и ошеломлен, заметив это, что выражение его лица не могло не быть замеченным моею сестрою.

– Ну, что там еще? – резко спросила она, ставя чашку на стол.

– Послушай, – бормотал Джо, качая головою, с выражением серьёзного упрека: – Пип, старый дружище! ты себе этак повредишь. Он там где-нибудь застрянет, смотри! Ведь, ты его не жевал, Пип!

– Ну, что там еще у вас? – повторила моя сестра, еще резче прежнего.

– Пип, попробуй-ка откашлянуться хорошенько. Я бы тебе это, право, советовал, – продолжал Джо с ужасом. – Приличия, конечно, дело важное, но, ведь, здоровье-то важнее.

Сестра моя к тому времени пришла в совершенное неистовство; она бросилась на Джо, схватила его за бакенбарды и принялась колотить головою об стену, между тем, как я сидел в уголку, сознавая, что я всему виною.

– Теперь, надеюсь, ты объяснишь мне в чем дело, – сказала она, запыхавшись: – чего глазеешь-то, свинья набитая.

Джо бросил на нее беспомощный взгляд, откусил хлеба и взглянул на меня.

– Ты сам знаешь, Пип, – сказал он, дружественным тоном, с последним куском за щекою и разговаривая, будто мы были наедине. – Мы, ведь, всегда были примерные друзья, и я последний сделал бы тебе какую неприятность. Но, сам посуди... – и он подвинулся ко мне с своим стулом, взглянул на пол, потом опять на меня: – сам посуди, такой непомерный поток...

– Опять сожрал, не прожевав порядком – а? – отозвалась моя сестра.

– Я и сам глотал большие куски, когда был твоих лет, – продолжал Джо, все еще с куском за щекою и не обращая внимания на мистрис Джо: – и даже славился этим, но отродясь не видывал я такого глотка. Счастье еще, что ты жив.

Сестра моя нырнула по направлению ко мне и, поймав меня за волосы, произнесла страшные для меня слова:

– Ну, иди, иди, лекарства дам.

В то время какой-то скотина-лекарь снова пустил в ход дегтярную воду, и мистрис Гарджери всегда держала порядочный запас ее в шкафу; она, кажется, верила, что ее целебные свойства вполне соответствовали противному вкусу. Мне по малости задавали такой прием этого прекрасного подкрепительного средства, что от меня несло дегтем, как от вновь осмоленного забора. В настоящем, чрезвычайном случае необходимо было задать мне, по крайней мере, пинту микстуры, и мистрис Джо влила ее мне в горло, держа мою голову подмышкою. Джо отделался полупинтою. Судя по тому, что я чувствовал, вероятно, и его тошнило.

Страшно, когда на совести взрослого или ребенка лежит тяжкое бремя; но когда к этому бременю присоединяется еще другое, в штанах, оно становится невыносимо, чему я свидетель. Сознание, что я намерен обворовать мистрис Джо – о самом Джо я не заботился, мне и в голову не приходило считать что-нибудь в доме его собственностью – сознание, соединенное с необходимостью постоянно держать руку в штанах, чтоб придерживать запрятанный кусок хлеба с маслом, приводило меня почти в отчаяние. Всякий раз, что ветер с болота заставлял ярче разгораться пламя, мне казалось, что я слышал под окнами голос человека с кандалами на ногах, который клятвою обязал меня хранить тайну и объявлял мне, что не намерен умирать с голоду до завтра, и потому я должен накормить его. Иной раз мною овладевала мысль: «а что, если тот молодчик, которого с таким трудом удерживали от моих внутренних побуждений, следуя природным побуждениям, или ошибившись во времени, вдруг вздумает немедленно распорядиться моим сердцем и печенкою!» Если у кого волосы стояли когда дыбом, так уж верно у меня. Впрочем, я полагаю, что этого ни с кем не случилось.

Был вечер под Рождество; мне пришлось мешать пудинг для завтрашнего дня, ровно-хонько от семи до восьми, по стенным часам. Я было принялся за работу с грузом в штанах – что напомнило мне тотчас об иного рода грузе у *него* на ногах – но, к несчастью, увидел, что ноша моя упрямо сползала к щиколке, при каждом движении. Наконец мне удалось улизнуть

в свою конурку на чердаке и облегчить свое тело от излишка бремени, а душу от тяжелого беспокойства.

– Слышь! – воскликнул я, перестав мешать и греясь перед камином, пока меня еще не погнали спать: – ведь это пушка, Джо?

– Ого! – сказал Джо: – должно быть, еще одним колодником меньше.

– Что это значит, Джо?

Мистрис Джо, которая бралась за объяснение всего на свете, сказала отрывисто: «убежал, убежал!» Она отпустила это определение словно порцию дегтярной воды.

Когда мистрис Джо снова принялась за свое шитье, я осмелился, обращаясь к Джо, выделывать своим ртом слова: «что такое колодник»? Джо выделал своим ртом какой-то замысловатый ответ, из которого я разобрал только последнее слово: «Пип».

– Вчера удрал один колодник, – громко сказал Джо: – после вечернего выстрела, а теперь они, верно, стреляют по-другому.

– Кто стреляет? – сказал я.

– Что за несносный мальчишка, – вступилась моя сестра, взглянув на меня исподлобья, не поднимая головы с работы: – с своими бесконечными вопросами! Много будешь знать – скоро поседеешь. Меньше спрашивай, меньше врать будешь.

Эта выходка была не совсем-то учтивая, даже в отношении к ней самой, допуская предположение, что она сама не малая охотница до вранья, ибо бралась все объяснять.

В это время Джо еще более подстрекнул мое любопытство, силясь всеми средствами выделывать своим ртом что-то в роде: «злой тон». Поняв, что это относится к изречению мистрис Джо, я кивнул на нее головой и шепнул: «у нее?». Но Джо не хотел ничего слышать и продолжал разевать рот, стараясь выделывать какое-то чудное, непонятное для меня слово.

– Мистрис Джо, – сказал я, прибегая к крайнему средству: – мне бы очень хотелось знать, с вашего позволения, откуда стреляют?

– Бог с ним, с этим мальчишкой! – воскликнула сестра с выражением, как будто желала, мне совершенно противного. – С понтона.

– Ого! – воскликнул я, глядя на Джо: – с понтона.

Джо укоризненно закашлял, будто желая тем сказать: «не то же ли я говорил?»

– А позвольте, что такое понтон? – спросил я.

– Ну, я наперед знала, с ним всегда так, с этим мальчишкой! – воскликнула моя сестра, тыкая на меня иголкой и кивая головой. – Ответь ему на один вопрос, он задаст вам еще двадцать. – Понтоны – это тюремные корабли, что там, за болотами.

– Я все же в толк не возьму, кого туда сажают и зачем? – сказал я с тихим отчаянием, не обращаясь ни к кому в особенности.

Я, как видно, пересолил: мистрис Джо тотчас вскочила.

– Я тебе скажу одно, – вскричала она: – я тебя не для того вскормила от руки, чтоб ты надоедал людям до смерти. Тогда бы этот подвиг был мне не к чести, а напротив. На понтоны сажают людей за то, что они убивают, крадут, мошенничают и делают всякого рода зло; а начинают все они с расспросов. Ну, теперь убирайся спать.

Мне никогда не позволяли идти спать со свечою. У меня голова шла кругом, пока я всходил по лестнице, ибо наперсток мистрис Джо сопровождал последние слова, выбивая такт на моей голове. Мысль, что мне написано на роду, рано или поздно, попасть на понтон, казалась мне несомненною. Я был на прямой дороге туда: весь вечер я расспрашивал мистрис Джо, а теперь готовился обокрасть ее.

С тех пор, я часто размышлял о том, как сильно действует страх на детей, что б его ни породило, хотя бы самая бессмысленная причина. Я смерть как боялся молодчика, что добирался до моего сердца и печенки; я смерть как боялся своего собеседника с закованною ногою; я смерть как боялся самого себя после того, как дал роковое обещание; я не мог

надеяться на помощь со стороны сильной сестры, которая умела лишь отталкивать меня на каждом шагу. Страшно подумать, на что б я не решился под влиянием подобного страха.

Если я и засыпал в эту ночь, то лишь для того, чтоб видеть во сне, как весенним течением меня несло по реке к понтону; призрак морского разбойника кричал мне в трубу, пока я проносился мимо виселицы, чтоб я лучше остановился и дал себя разом повесить, чем откладывать исполнение неминуемой судьбы своей. Я боялся крепко заснуть, если б и мог, потому что с раннею зарею я должен был обокрасть кладовую. Ночью я сделать этого не мог: в те времена нельзя было добыть огня спичками, и мне пришлось бы высекать огонь из огнива и наделать шума, не менее самого разбойника, гремевшего цепями.

Как скоро черная, бархатная завеска за моим окном получила серый оттенок, я сошел вниз. Каждая доска по дороге и каждая скважина в доске кричала вслед за мною: «Стой, вор! Вставай, мистрис Джо!» В кладовой, очень богатой всякого рода припасами, благодаря праздникам, меня сильно перепугал заяц, повешенный за лапы: мне почудилось, что он мигнул мне при входе моем в кладовую. Но не время было увериться в этом; не время было сделать строгий выбор; не было времени ни на что, нельзя было терять ни минуты. Я украл хлеба, кусок сыру, с полгоршка начинки и завязал все это в свой носовой платок, вместе с вчерашним ломтем хлеба с маслом; потом я налил водкой из каменной бутылки в склянку, долив бутылку из первой попавшейся кружки, стоявшей на шкафу. Кроме того, я стащил еще какую-то почти обглоданную кость и плотный, круглый пирог, со свининой. Я было собрался уйти без пирога, когда заметил в углу, на верхней полке что-то спрятанное в каменной чашке; я влез на стул и увидел пирог; в надежде, что пропажа его не скоро обнаружится, я и его захватил с собою.

Из кухни дверь вела в кузницу; я снял запор, отпер ее, вошел в кузницу и выбрал напилек между инструментами Джо; потом я запер дверь по-прежнему, отворил наружную дверь и пустился бежать к болотам.

III

Утро было сырое, туманное; окно мое вспотело и капли воды струились по нем, будто леший проплакал там всю ночь и оросил его слезами. Сырость виднелась везде на голых плетнях, и на скудной траве, раскинувшись, как паутина, от одного сучка к другому, от одной былинки к другой. Все было мокро, и заборы и ворота, а туман стоял такой густой, что я издали даже не заметил указательного перста на столбе, направлявшего путешественников в наше село (хотя, надо заметить мимоходом, они никогда не следовали этому указанию и не заходили к нам). Когда я подошел ближе и взглянул на него, вода с него стекала на землю капля за каплею, и моей нечистой совести он показался каким-то привидением, обрекавшим меня заключению на понтоне. Туман сделался еще гуще, когда я пошел по самому болоту; не я уже бежал на предметы, а предметы, казалось бежали на меня. Это было очень неприятно для нечистой совести. Шлюзы, рвы, насыпи как бы бросались на меня из тумана и кричали: «Стой! мальчишка украл чужой пирог, держи его!» Так же неожиданно я столкнулся и с целым стадом, вылупившим на меня глаза и выпускавшим пар из ноздрей; и стадо кричало: «Эй, воришка!» Один черный бык, в белом галстуке, напоминавший мне пастора, так упрямо стал смотреть на меня и так неодобрительно мотал головою, что я не вытерпел и завопил:

– Я не мог этого не сделать, сэр. Я, ведь, взял не для себя.

В ответ на мои слова, он опустил голову, выпустил из ноздрей целое облако пару и скрылся, лягая задними ногами и виляя хвостом. Все это время я шел по направлению к реке, но как ни скоро я шагал, я никак не мог согреть ног; холод, казалось, так же крепко их охватывал, как колодка ноги моего вчерашнего незнакомца. Я очень хорошо знал дорогу за батарею; мы с Джо одно воскресенье ходили туда и Джо тогда сказал мне, сидя на старом оружии, что когда я сделаюсь его учеником, мы часто будем удирать туда. Несмотря на то, благодаря непроницаемой мгле тумана, я взял гораздо правее, чем следовало, и мне потому пришлось идти назад по берегу реки, по камням, разбросанным посреди непроходимой грязи, и вехов, означавших пределы разлития реки во время прилива. Я почти бежал. Перескочив через канал, к, я знал, находился близ батареи, и вскарабкавшись за противоположную сторону, я неожиданно увидел моего колодника, сидевшего ко мне спиной; руки его были сложены на груди, а голова моталась то в одну, то в другую сторону; ясно было, что он спал. Я думал, он более обрадуется, если я неожиданно явлюсь к нему с завтраком, и потому, подойдя сзади, я тихонько тронул его за плечо. Он в то же мгновение вскочил, но то был не мой колодник. Он, однако ж, очень походил за моего незнакомца: тоже серое платье, та же колодка на ногах, он так же хромал и дрожал от холода; одна только была разница между ними: лицо его было другое и на голове плоская, с большими полями, поярковая шляпа. Все это заметил я в одно мгновение, ибо он ругнул меня, хотел побить, но поскользнулся, чуть не упал, и пустился бежать, спотыкаясь на каждом шагу. Вскоре туман скрыл его от моих глаз.

«Верно это молодчик!» думал я, и сердце у меня забилося. Я уверен, что почувствовал бы боль и в печенке, если б только знал, где она находится. Вскоре я добрался до батареи и увидел моего настоящего колодника: он ковылял взад и вперед по батарее, обхватив свое тело руками, точно он всю ночь провел в этом положении, поджидая меня. Он страшно дрожал от холода. Я ожидал, что вот он упадет к моим ногам и окоченеет на веки. Глава его поражала выражением какого-то отчаянного голода; передавая ее у напилка, я подумал, что он верно принялся бы его грызть, если б не видел моего узелка. Он не повернул меня теперь ногами вверх, как в первый раз, а дал на свободе равнять узелок и опорожнить карманы.

– Что в бутылке? – спросил мой приятель.

– Водка, – отвечал я.

Он уже набивал себе глотку начинкою; процесс этот более походил за поспешное прятанье, чем на еду. Он на минуту остановился, однако, чтоб хлебнуть из бутылки. Он так сильно дрожал всем телом, что я боялся, чтоб он не откусил горлышка у бутылки.

– Верно у вас лихорадка, – сказал я.

– Я сам то же думаю, мальчик, – отвечал он.

– Тут нехорошо, – продолжал я. – Вы лежали на болоте, а ведь, от этого легко получить лихорадку и ломоту.

– Я прежде покончу этот завтрак, чем смерть покончит со мною, – сказал он. – Я все-таки его кончу, если б мне даже следовало тотчас затем идти на галеры. Я до конца завтрака поборю свою дрожь, не бойся.

Во все это время, он с неимоверною скоростью глотал и начинку, и куски мяса, и хлеб, и сыр, и пирог со свининой. Он глядел на меня во время этой работы недоверчиво; озираясь боязливо по сторонам и, вперяя взгляд в туман, он часто останавливался и прислушивался. Всякий звук, плеск реки, мычание стада – все заставляло его вздрагивать. Наконец он воскликнул:

– Ты меня не надуваешь, чертёнок? Ты никого не привел с собою?

– Нет, никого, сэр.

– И никому не велел за собою идти?

– Никому.

– Ну, хорошо, – возразил он: – я тебе верю. И то сказать, хорош бы ты был щенок, если б в твои годы помогал бы ловить такую несчастную тварь, как я.

При этом что-то зазвенело в его горле, точно там находились часы с боем, и он потер глаза своим толстым рукавом.

Сожалея о его судьбе, я со вниманием наблюдал, как он, съев все, что я принес, накинусь наконец на пирог со свининой.

– Очень рад, что пирог вам нравится, – заметил я, собравшись с силами.

– Что ты сказал?

– Я сказал только, что очень рад, что вам понравятся пирог.

– Спасибо, мальчик. Правда, он мне очень нравится.

Часто я наблюдал, как ела наша большая собака, и теперь заметил, что мой каторжник ел точь-в-точь, как она. Он ел урывками, хватая большими кусками, и глотал чересчур скоро и поспешно. Во время еды он косился во все стороны, как бы боясь, что у него отнимут его пирог. Вообще, он был слишком расстроен, чтоб вполне наслаждаться обедом или позволить кому-нибудь разделить его, не оскалив на него зубы. Всеми этими чертами мой незнакомец очень походил на нашу собаку.

– Я боюсь, вы ничего ему не оставите, – сказал я робко, после долгого молчания, в продолжение которого я размышлял: прилично ли мне сделать это замечание. – Более я ничего не могу достать. (Уверенность в последнем обстоятельстве и побудила меня говорить).

– Оставить для него? Да кто же это он? – воскликнул мой приятель, на минуту переставая грызть корку пирога.

– Молодчик, о котором вы говорили, который спрятан у вас.

– А! – отвечал он со смехом. – Он, да, да! он не нуждается в пище.

– А мне показалось, что ему очень хотелось есть.

Мой приятель остановился и взглянул на меня подозрительно и с величайшим удивлением.

– Ты его видел? Когда?

– Только что.

– Где?

– Вон там, – отвечал я, показывая пальцем: – я нашел его спящим и подумал, что это вы.

Он схватил меня за шиворот и так пристально смотрел мне в глаза, что я начал бояться, что ему пришла опять в голову мысль свернуть мне горло.

— Он, знаете, одет как вы, только на голове шляпа, — объяснил я, дрожа всем телом: — и... и... — я старался выразить это как можно деликатнее: — и он также нуждается в напилке. Разве вы не слыхали пальбу прошлую ночь?

— Там действительно палили, — сказал он сам себе.

— Я удивляюсь, — продолжал я, — как вы не слыхали, казалось, кому бы лучше это знать, как не вам. Мы слышали пальбу дома, с запертыми дверьми, а мы живем далеко отсюда.

— Ну, — сказал он: — когда человек один на болоте, с пустой головой, с пустым желудком, умирает с голода и холода, то он, право, всю ночь только и слышит, что пальбу пушек и клики своих преследователей! Он слышит... ему грезятся солдаты в красных мундирах с факелами, подступающие со всех сторон. Ему слышится, как его окликают, слышится стук ружей и команда: «стройся! на караул! бери его!» А в сущности все это призрак. Я, в прошлую ночь, не одну видел команду, окружавшую меня, а сотни, черт их побери! А пальба. Уже светало, а мне все казалось, что туман дрожал от пушечных выстрелов... Но этот человек, — воскликнул он, обращаясь ко мне — все это время он, казалось, говорил сам с собою, забыв о моем присутствии: — заметил ты в нем что особенного?

— Лицо у него все в ранах, — отвечал я, припоминая то, что едва-едва успел заметить в незнакомом молодчике.

— Здесь? — воскликнул мой приятель, изо всей силы ударив себя по левой щеке.

— Да.

— Где он? — и при этих словах он засунул остававшиеся крохи пирога себе за пазуху: — покажи, куда он пошел. Я его выищу не хуже гончей, и доканаю. Только вот проклятая колодка! Да и нога вся в ранах! Давай скорей напилка, мальчик!

Я показал, по какому направлению скрылся в тумане незнакомец. Мой приятель только поспешно взглянул в ту сторону, тотчас же кинулся на мокрую траву и стал, как сумасшедший, отчаянно пилить цепь на ноге. Он не обращал внимания ни на меня, ни на свою бедную, окровавленную ногу; несмотря на то, что на ней виднелась страшная рана, он перевертывал ее так грубо, как будто она была столь же бесчувственна, как напилка. Я начинал опять бояться его, видя, как он беснуется, к тому же, я боялся опоздать домой. Я сказал ему, что мне нужно идти домой, но он не обратил на меня внимания, и я почел за лучшее удалиться. Последний раз, когда я обернулся посмотреть на моего приятеля, он сидел на траве с поникшей головой, и без устали пилил колодку, проклиная по временам ее и свою ногу. Последний звук, долетевший до меня с батареи, был все тот же тревожный визг напилка.

IV

Я вполне был уверен, что в кухне найду полицейского, пришедшего за мною; но не только там не оказалось никакого полицейского, но даже не открыли еще моего воровства. Мистрис Джо суежилась, убирая все в доме к праздничному банкету, а Джо сидел на ступеньке у кухонной двери; его туда выпроводили, чтоб он не попал в сорную корзину, что всегда с ним случалось, когда сестра моя принималась чистить наши полы.

– А где ты чертёнок шатался? – сказала мне сестра, вместо рождественского приветствия, когда я, с своей нечистой совестью, предстал пред нею.

Я отвечал: «что ходил слушать, как Христа славят».

– А, хорошо! – сказала мистрис Джо. – Ты бы, пожалуй, мог делать что и похуже.

Я вполне был с этим согласен.

– Если б я не была женою кузнеца и, что то же самое, работницею, никогда не снимающею с себя передника, то и я бы пошла послушать, как Христа славят. Смерть люблю, верно потому никогда и не удастся послушать.

Джо, между тем, увидев, что сорная корзинка удалась, вошел в кухню. Когда, по временам, мистрис Джо взглядывала на него, он проводил по носу рукою самым примитивным образом; когда же она отвергивалась, он таинственно скрещивал указательные пальцы: это был условный знак между нами, что мистрис Джо не в духе. Подобное состояние было столь ей свойственно, что мы по целым неделям напоминали собою, то есть своими скрещенными пальцами, статуи крестоносцев, с скрещенными ногами. У нас готовился важный банкет: маринованный окорок, блюдо зелени и пара жареных кур. Вчера уже спекли приличный *минс-пай*¹ (поэтому и начинки до сих пор не хватились), а пудинг уже исправно варился. Все эти многосторонние заботы моей сестры были причиною того, что мы остались почти без завтрака. «Ибо я вовсе не намерена (говорила мистрис Джо) вам позволить теперь нажраться, а потом прибирать за вами: у меня и то слишком много дела».

Вследствие этого нам подали наши ломти хлеба так, как будто мы были целый полк на походе, а не два человека, и то у себя дома. Запивали мы молоком, пополам с водою, из кружки, стоявшей на кухонном столе. Между тем, мистрис Джо повесила чистые, белые занавески, и на огромном камине заменила старую оборку новою, разноцветною. Потом она сняла все чехлы с мебели в гостиной, через коридор. Это делалось только раз в год, а в остальное время все в этой комнате было покрыто прозрачной мглой серебристой бумаги, покрывавшей почти все предметы в комнате, даже до фаянсовых пуделей на камине, с черными носами с корзинками цветов в зубах. Мисс Джо была очень опрятная хозяйка, но она имела какое-то искусство делать свою опрятность гораздо неприятнее самой грязи. Опрятность в этом случае можно сравнить с набожностью некоторых людей, одаренных искусством делать свою религию столь же неприятною.

Сестра моя в этот день, по причине огромных занятий, должна была присутствовать в церкви только в лице своих представителей, то есть мы с Джо отправились вместо нее. Джо в своем обыкновенном рабочем платье походил на настоящего плечистого кузнеца; в праздничном же одеянии, он более всего походил на разряженное огородное пугало. Все было ему не в пору и, казалось, сшито для другого; все висело на нем неуклюжими складками. Теперь, когда он явился из своей комнаты, в полном праздничном наряде, его можно было принять за олицетворение злосчастного мученика. Что же касается меня, то, верно, сестра считала меня юным преступником, которого полицейский акушер в день моего рождения передал ей, для поступления со мной по всей строгости закона. Со мною всегда обходились

¹ Пироги, которые едят в Англии на Рождество

так, как будто я настоял на том, чтоб явиться на свет, вопреки всем законам разума, религии, нравственности, и наперекор всем друзьям дома. Даже, когда мне заказывалось новое платье, то портному приказывалось делать его в роде исправительной рубашки, чтоб отнять у меня всякую возможность свободно действовать руками и ногами.

На основании всего этого, наше шествие с Джо в церковь было, верно, очень трогательным зрелищем для чувствительных сердец. Однако, мои внешние страдания были ничто в сравнении с внутренними. Страх, овладевавший мною каждый раз, когда мистрис Джо выходила из комнаты и приближалась к кладовой, мог только сравниться с угрызениями моей совести. Под тяжестью преступной тайны, я теперь размышлял: «не будет ли церковь в состоянии укрыть меня от мщения ужасного молодчика, если б я покался ей в своей тайне». Мне вошла в голову мысль встать, когда начнут окликать и пастор скажет: «Объявите теперь, что знаете», и попросить пастора на пару слов в ризницу. Я, пожалуй, в самом деле удивил бы подобной выходкой наших скромных прихожан; но к несчастью, нельзя было прибегнуть к столь решительной мере, ибо было Рождество и никого не окликали.

У нас должны были обедать мистер Уопсель, дьячок нашей церкви, мистер Гибль, колесный мастер, с женою, и дядя Пёмбельчук (он был собственно дядею Джо, но мистрис Джо совершенно присвоила его себе), довольно-зажиточный торговец зерном в ближнем городе, ездивший в своей собственной одноколке.

Обедали мы в половине второго. Когда мы с Джо воротились домой, стол уже был накрыт, мистрис Джо одета и кушанье почти готово. Парадная дверь была отперта, чего в обыкновенное время не случалось; вообще, все было чрезвычайно парадно. О воровстве не было и слуху. Время шло, но мне от этого легче не было. Наконец собрались и гости. Мистер Уопсель имел огромный римский нос и большой, высокий, гладкий лоб; он особенно гордился своим густым басом, и действительно, его знакомые знали, что дай только ему случай, он зачитает до смерти и самого пастора. Он сам сознавался, что будь только духовное поприще открыто для всех, то он, конечно бы, отличился на нем; но так как духовное поприще не было для всех открыто, то он был, как сказано, только дьячком в нашей церкви. Мистер Уопсель за то провозглашал «аминь» страшным голосом и, называя псалом, всегда произносил весь первый стих и обводил взглядом всех прихожан, как бы говоря: «вы слышали моего друга, что надо мною, а теперь скажите, какое ваше мнение о моем голосе?»

Я отворял дверь гостям, показывая вид, что она у нас всегда открыта. Сперва я впустил мистера Уопселя, потом мистера и мистрис Гибл и наконец дядю Пёмбельчука.

NB. Мне, под страхом наказания, запрещено было называть его дядей.

Дядя Пёмбельчук был человек дородный, страдал одышкой, имел огромный рот, как у рыбы, и волосы песочного цвета, стоявшие торчком; вообще, он, казалось, только что подавился и не успел еще придти в себя.

— Мистрис Джо, — сказал он, входя: — я вам принес, сударыня, бутылочку хересу и принес бутылочку портвейна, сударыня.

Каждое Рождество он являлся подобным образом, с теми же словами и теми же бутылками. Каждое Рождество мистрис Джо отвечала.

— О, дядя Пём-бель-чук, как это мило! — И каждое Рождество он отвечал: — «Вы вполне заслуживаете это своими прекрасными качествами. Как вы поживаете? Ты как, медный грош? (под этими словами он разумел меня). В подобные торжественные случаи мы всегда обедали в кухне, а десерт, то есть орехи, апельсины и яблоки доедали в гостиной. Эта перемена одной комнаты на другую очень походила на перемену будничного платья Джо на праздничное. Сестра моя была что-то особенно весела; впрочем, она вообще была весела и любезна в обществе мистрис Гибл. Мистрис Гибл, сколько я помню, была молоденькая фигурка, с острыми чертами и в лазуревом платье; она держала себя как-то очень скромно и по-детски; причиной тому, говорят, было ее очень раннее замужество, хотя с тех пор и

прошло не малое число лет. Мистер Гибл был плечистый, полный мужчина; от него несло всегда запахом свежих опилок и, шагая, он так широко расставлял ноги, что я, ребенком, всегда видел окрестности на несколько миль в промежутке между его ногами.

В подобном обществе мне было бы неловко, даже и в нормальном моем положении, даже если б я не обокрал кладовой. Мне было неприятно не то, что меня посадили на самый кончик стола, где угол его постоянно давил меня в грудь, а локоть Пёмбельчука грозил ежеминутно выколоть мне глаз; меня терзало не то, что мне не позволяли говорить – я этого и сам-то не желал – и не то, что угощали меня голыми куриными костями и самыми сомнительными кусочками ветчины, которыми свинья, при ее жизни, вероятно, менее всего гордилась – нет, я бы на все это и не обратил внимания, если б только меня оставили в покое. Но этого-то я и не мог добиться. Они не упускали ни одного случая заговорить обо мне и колоть меня своими замечаниями. Я почти походил на несчастного быка на испанской арене – так метко они меня поражали своими нравственными стрелами. Мое мученье началось с самого начала обеда. Мистер Уопсель прочел молитву с театральной торжественностью, напоминая и привидение в Гамлете, и Ричарда III. Он кончил словами, что все мы должны быть бесконечно благодарны. При этих словах сестра моя посмотрела на меня пристально и сказала с упреком: «Слышишь? будь благодарен!» «Особливо (подхватил Пёмбельчук) будь благодарен, мальчик, тем, кто вскормил тебя от руки». Мистрис Гибл покачала головой и, смотря на меня с каким-то печальным предчувствием, что из меня не будет пути, спросила: «Отчего это молодёжь всегда неблагодарна?» Разгадать нравственную загадку, казалось, было бы не по силам всей нашей компании. Наконец мистер Гибл разрешил ее, сказав коротко: «Молодёжь безнравственна по природе». Тогда все пробормотали: «правда» и начали смотреть на меня каким-то очень неприятным и обидным образом.

Положение и влияние Джо в доме еще более уменьшалось, когда у нас бывали гости; но он всегда, когда мог, приходил ко мне на помощь и утешал меня так или иначе. Теперь он подлил мне соуса полную тарелку.

Несколько спустя, мистер Уопсель принялся строго критиковать утреннюю проповедь и сообщил им, какую проповедь он бы сказал, будь только духовное поприще открыто для всех. Приведя несколько текстов из проповеди, произнесенной за обеднею, он прибавил, «что вообще не оправдывает выбора предмета для проповеди, тем более теперь, добавил он, когда есть столько животрепещущих вопросов на очереди».

– Правда, правда, – сказал дядя Пёмбельчук. – Вы метко выразились, сэр. Именно много предметов для проповеди теперь на очереди для тех, кто умеет посыпать им на хвост соли – вот что необходимо. Человеку не придется далеко бегать за своим предметом, была бы только у него наготове щепотка соли. – Потом Пёмбельчук, немного подумав, прибавил: – посмотрите, хоть, вот на окорок – вот вам и предмет; хотите предмет для проповеди – вот вам окорок.

– Правда, сэр. Славную мораль можно вывести для молодёжи, выбрав такой предмет для своей проповеди, – отвечал мистер Уопсель.

Я понял, что он намекал на меня.

– А ты слушай-ка, что говорят, – заметила сестра, обращаясь ко мне.

Джо подлил мне на тарелку соуса.

– Свинья, – продолжал Уопсель своим густым басом, указывая вилок на мое раскрасневшееся лицо, точно он называл меня по имени: – свинья была товарищем блудному сыну. Прожорливость свиней представляется нам, как назидательный пример для молодёжи (я думал, что это хорошо относилось и к тому, кто так распространялся о том, как сочен и жирен окорок). Что отвратительно в свинье – еще отвратительнее встретить в мальчике...

– Или девочке, – прибавил мистер Гибль.

– Ну, конечно, и в девочке, – сказал мистер Уопсель, несколько нетерпеливо: – да таковой здесь не находится.

– Кроме того, – начал Пёмбельчук, обращаясь ко мне: – подумай за сколько вещей ты должен быть благодарен; если б ты родился поросёнком...

– Ну уж, он был такой поросёнок, что и не надо хуже! – воскликнула моя сестра.

Джо прибавил мне еще соуса.

– Может быть; – сказал Пёмбельчук: – но я говорю о четвероногом поросёнке. Если б ты родился таковым, был ли бы ты здесь в эту минуту – а?.. Никогда.

– Иначе, как в таком виде... – заметил мистер Уопсель, кивая головой на блюдо.

– Но я не это хотел сказать, сэр, – возразил Пёмбельчук, сильно не любивший, чтоб его перебивали. – Я хочу сказать, что он не наслаждался бы теперь обществом людей старше и умнее его, учась уму-разуму из их разговоров, и не был бы окружен, можно сказать, роскошью. Мог ли бы он этим всем наслаждаться? Нет, тысяча раз нет. А какова бы была твоя судьба? – вдруг воскликнул он, обращаясь ко мне: – тебя бы продали, по рыночной цене, за несколько шиллингов, и мясник Дунстабль подошел бы к тебе, покуда ты валялся на соломе, схватил бы тебя левою рукой, а правою достал бы ножик из кармана, и пролил бы он твою кровь, и умертвил тебя. Тогда бы тебя не стали вскармливать от руки. Нет, шутишь!

Джо предложил мне еще соусу, но я боялся взять.

– Он вам, ведь, стоил страх сколько забот, сударыня? – сказал мистер Гибл, смотря с сожалением на мою сестру.

– Забот? – повторила сестра: – забот?...

Тут она представила длинный перечень всех болезней и бессонниц, в которых я был виновен, всех высоких предметов, с которых я падал, и низеньких, о которые я стучался. Она припомнила все мои ушибы и увечья и, наконец, заметила, сколько раз желала меня видеть в могиле, но я всегда упрямо сопротивлялся ей желанию. Я думаю, римляне порядком досаждали друг другу своими знаменитыми носами. Быть может, в этом кроется причина их беспокойного, буйного характера; как бы то ни было, но римский нос мистера Уопселя так надоел мне во время рассказа моей сестры, что я охотно впился бы в него, наслаждаясь воплями и криками мистера Уопселя. Но все, что я терпел до сих пор, было ничто в сравнении с страшным чувством, овладевшим мною, когда, по окончании рассказа сестры, все обратили свои взоры на меня с выражением отвращения.

– Однако, – сказал мистер Пёмбельчук, опять возвращаясь к прежней теме: – окорок вареный также богатый предмет – не правда ли?

– Не хотите ли водочки, дядюшка? – предложила моя сестра.

Боже мой, пришлось же к тому! Пёмбельчук найдет, что водка слаба, скажет об этом сестре и я пропал! Я крепко прижался к ножке стола и обвинил ее руками. Мистрис Джо пошла за каменной бутылкой, и пришед назад, налила водки одному Пёмбельчуку. А он, окаянный, еще стал играть стаканом, прежде чем выпить, он брал его со стола, смотрел на свет и снова ставил на стол, как бы нарочно, чтоб продлить мои муки. В это время мистрис Джо с мужем поспешно сметали крошки со стола, для достойного приема пудинга и пирога. Я пристально следил за Пёмбельчуком. Я увидел, как эта низкая тварь весело взяла рюмку, закинула голову и залпом выпила. Почти в ту же минуту все общество обомлело от удивления: Пёмбельчук вскочил из-за стола, заметался по комнате и, отчаянно кашляя и задыхаясь, выбежал вон. Сквозь окно было видно, как он харкал и плевал на дворе, строя страшные гримасы, словно помешанный. Я крепко прильнул к ножке стола. Мистрис Джо и Джо побежали за ним. Я был уверен, что отравил Пёмбельчука, но как – я не мог себе объяснить. В моем отчаянном положении, мне стало уже легче, когда его привели назад и он, обзрев всех присутствовавших с кислым выражением, кинулся в свое кресло, восклицая: «деготь!» Я понял, что бутылку с

водкой я утром долил дегтярной водой. Я был уверен, что ему будет все хуже и хуже и двигал стол, как какой-нибудь медиум нашего времени, силою моего невидимого прикосновения.

– Деготь! – кричала моя сестра с изумлением. – Как мог попасть туда деготь?

Но дядя Пёмбельчук, неограниченно властвовавший в нашей кухне, ничего не хотел слышать и, величественно махая рукою, чтоб больше об этом не говорили, потребовал пуншу. Сестра моя, начинавшая было задумываться, теперь суежилась, побежала и принесла все нужное для пунша: кипятку, сахару, лимонной корки и джину. Я был спасен, хотя на время, но все же не выпускал из рук столовой ножки и еще более к ней прижался с чувством благодарности.

Понемногу я успокоился, расстался с своей ножкой и начал есть пудинг. Мистер Пёмбельчук также ел пудинг и все ели пудинг. Обед наш кончился и мистер Пёмбельчук развесялся от действия пунша; я уж думал, что этот день для меня пройдет удачно. Но вдруг моя сестра крикнула: «Джо! чистые тарелки – холодные». Я в ту же минуту судорожно ухватился за ножку стола и прижал ее к своему сердцу, словно то был мой лучший друг и товарищ. Я предвидел, что будет; я был уверен, что теперь я не отделаюсь.

– Вы должны отведать, – обратилась любезно сестра моя ко всем гостям: – вы должны отведать, на закуску, великолепного, бесподобного подарка мистера Пёмбельчука.

– Должны! Нет, шутите!

– Вы должны знать, – прибавила сестра, вставая: – это пирог отличный, со свининой.

Все общество рассыпалось в комплиментах, а мистер Пёмбельчук, уверенный, в том, что заслуживает похвалы от своих сограждан, сказал с оживлением:

– Ну, мистрис Джо, мы постараемся сделать честь пирогу, и не откажемся взять по кусочку.

Сестра моя пошла за пирогом. Я слышал, как шаги ее приближались к кладовой. Я видел, как мистер Пёмбельчук нетерпеливо ворочал своим ножом, а у мистера Уопселя римские ноздри как-то особенно раздувались, выражая непомерную жадность. Я слышал замечание мистера Гибля, что «кусочек вкусного пирога со свининой хорошо ляжет поверх какого угодно обеда»; наконец Джо мне говорил: «и ты получишь кусочек, Пип». Я до сих пор достоверно не знаю, действительно ли я завопил от ужаса, или мне это только показалось. Я чувствовал, что уже не в силах более терпеть и должен бежать. Я выпустил из своих объятий ножку стола и побежал со всех ног; но не пробежал далее нашей двери, ибо там наткнулся на целый отряд солдат с ружьями. Один из них, показывая мне кандалы, кричал: «Ну, пришли! Смотри в оба! Заходи!»

V

Появление отряда солдат, которые стучали прикладами заряженных ружей о порог дома, заставило обедавших встать в замешательстве из-за стола. В это время мистрис Джо воротилась в кухню с пустыми руками и остановилась неподвижно, с выражением ужаса, восклицая:

– Боже мой! куда девался мой пирог?

Мы с Сержантом были тогда в кухне, и эта выходка мистрис Джо отчасти привела меня в себя. Сержант перед тем говорил со мной, а теперь он любезно обратился ко всей компании, держа в одной руке кандалы, а другою опираясь на мое плечо.

– Извините меня, милостивые государи и государыни, – сказал он: – но как я уже объяснил при входе этому прекрасному юноше (чего он, между прочим, и не думал делать): я командирован по службе и ищу кузнеца.

– А позвольте узнать, что вам от него надо, – возразила моя сестра, недовольная тем, что он понадобился.

– Мистрис, – отвечал любезно сержант: – говоря за себя, я бы ответил вам, что ищу чести и удовольствия познакомиться с его милой супругой, но, говоря от имени короля, я скажу, что для него есть маленькая работа.

Все приняли это за любезность со стороны сержанта; так что даже мистер Пёмбельчук воскликнул во всеуслышание:

– Прекрасно!

– Видите, кузнец, – сказал сержант, отыскавший в то время глазами Джо: – у нас был случай с этими кандалами и я заметил, что валок у одних из них поврежден и связи действуют не совсем то хорошо. Их надобно немедленно употребить в дело; потрудитесь взглянуть на них.

Джо взглянул и объявил, что для этой работы надо развести огонь в его кузнице и потребуется часа два времени.

– Вот как! В таком случае, примитесь за нее немедленно, господин кузнец, – сказал расторопный сержант. – Этого требует служба его величества. Если мои люди могут вам в чем-нибудь пригодиться, то распоряжайтесь ими.

С этими словами, он позвал солдат, которые взошли в кухню, один за другим, и сложили свое оружие в углу; затем, они стали в кружок, как обыкновенно становятся солдаты: кто скрещивал руки, кто потягивался, кто ослаблял портупею, кто, наконец, отворял дверь, чтоб плюнуть на двор, неловко поворачивая шею, стесненную высоким воротником.

Все это я видел бессознательно, находясь в то время в величайшем страхе. Но, начиная убеждаться, что колодки не для меня и что солдаты своим появлением отодвинули пирог на задний план, я стал понемногу сосредоточивать рассеянные мысли.

– Сделайте одолжение, скажите, который час? – сказал сержант, обращаясь в мистеру Пёмбельчуку, как к человеку, за которым он признавал по-видимому способность ценить время.

– Только что пробило половина третьего.

– Это еще ничего, – сказал сержант, соображая: – если я буду задержан здесь даже около двух часов, то все еще успеем. Сколько, по-вашему, отсюда до болот? Не более мили, я полагаю?

– Ровно миля, – сказал мистер Джо.

– Ну, так успеем. Мы оцепим их в сумерки. Мне так и велено. Успеем.

– Беглых колодников, сержант? – спросил мистер Уопсель, с уверенностью.

– Да, – возразил сержант: – двоих. Нам известно, что они еще находятся на болотах и до сумерек, верно, не решатся выйти оттуда,

– А что, не наткнулся ли кто из вас на нашего зверя?

Все, кроме меня, с убеждением отвечали отрицательно. Обо мне же никто и не подумал.

– Ладно, – сказал сержант: – я надеюсь их окружить прежде, чем они ожидают. Ну-ка, кузнец, если вы готовы, то его королевское величество ждет вашей службы.

Джо снял верхнее платье, жилет и галстук, надел свой кожаный фартук и пошел в кузницу. Один из солдат отворил в ней деревянные ставни, другой развел огонь, третий, принялся раздувать мехи, остальные расположились вокруг очага, в котором вскоре заревело пламя. Тогда Джо принялся ковать, а мы все глядели, стоя вокруг. Интерес предстоявшего преследования не только поглощал всеобщее внимание, но даже расположил сестру мою к щедрости. Она налила из бочонка кувшин пива для солдат и пригласила сержанта выпить стакан водки. Но мистер Пёмбельчук сказал резко:

– Дайте ему вина, сударыня: я ручаюсь, что в нем нет дёгтя.

Сержант поблагодарил и сказал, что предпочтет напиток, в котором нет дёгтя и потому охотнее выпьет вина, если им все равно. Ему поднесли вина, и он выпил за здоровье короля, провел языком по губам и поздравил с праздником.

– Ведь, не дурно вино, сержант – а? – сказал мистер Пёмбельчук.

– Знаете, что, – возразил сержант: – я подозреваю, что оно запасено вами.

Мистер Пёмбельчук засмеялся густым смехом и спросил:

– Э-э! почему же?

– А потому, – отвечал сержант, трепля его по плечу: – что я вижу, вы знаете толк в вещах.

– Вы, думаете? – спросил мистер Пёмбельчук, все с тем же смехом: – хотите еще рюмочку?

– Вместе с вами, чокнемся, – возразил сержант. – Стукнем наши рюмки краем о ножку, ножку о край. Раз-два! Нет лучше музыки как звон стаканов! За ваше здоровье. Желаю, чтоб вы прожили тысячу лет и никогда не переставали быть таким знатоком в вещах, как в настоящую минуту.

Сержант снова выпил залпом свою рюмку и, казалось, был бы не прочь от третьей. Я заметил, что мистер Пёмбельчук в припадке гостеприимства, казалось, забыл, что вино им подарено, и, взяв бутылку у мистрис Джо, весело передавал ее из рук в руки. Даже и мне досталось. Он так расщедрился на чужое вино, что спросил и другую бутылку и подчивал из нее так же радушно.

Глядя на них в то время, как они весело толпились вокруг наковальни, я подумал: «какая отличная приправа для обеда мой беглый приятель, скрывающийся в болотах!» Они не испытывали и в четвертой долю того, не наслаждались, пока мысль о нем не оживила банкета. Теперь все они были развлечены ожиданием словить «двух мерзавцев». В честь беглецов, казалось, ревели мехи, для них сверкал огонь, за ними в погоню уносился дым, для них стучал и гремел Джо, и с угрозой пробегали тени по стенам каждый раз, что пламя подымалось и опускалось, разбрасывая красные искры. Даже бледный вечерний свет, в сострадательном юношеском воображении моем, казалось, бледнел для них, бедняжек, раньше обыкновенного. Наконец Джо окончил свою работу и рев и стук прекратились. Надевая свое платье, Джо храбро предложил, чтоб один из нас пошел за солдатами и передал остальным об исходе поиска. Мистер Пёмбельчук и мистер Гибл отказались, предпочитая дамское общество и трубку; но мистер Уопсель объявил, что он согласен идти, если Джо пойдет. Джо сказал, что ему будет очень приятно, причем предложил взять и меня с собою, если мистрис Джо на то согласна. Я уверен, что вам ни за что не позволили бы отправиться, если б не любопытство мистрис Джо, которая хотела узнать все подробности дела. Теперь же она

только заметила, отпуская нас: «Если вы мне приведете мальчика с головой разmozженной выстрелом, то не надейтесь, чтоб я помогла беде». Сержант учтиво распростился с дамами и расстался с мистером Пёмбельчуком, как с добрым приятелем, хотя я сомневаюсь, чтоб он одинаково ценил достоинства этого джентльмена, если б познакомился с ним в сухую. Люди разобрали свои ружья и построились. Мистер Уопсель, Джо и я полупили строгое наставление оставаться в арьергарде и не говорить ни слова, когда мы достигнем болота. Пока мы быстро подвигались к месту назначения, я предательски шепнул Джо:

– Надеюсь, Джо, что мы не найдем их.

Джо также шепотом отвечал мне.

– Я бы дал шиллинг, чтоб они удрали и спаслись, Пип.

Никто не присоединился к нам из деревни, так как погода была холодная и ненадежная, дорога опасная и скользкая, ночь темная, и всякий добрый человек имел у себя добрый огонёк в честь праздника. Несколько лиц показалось у окон, глядя нам в след, но никто не вышел за ворота. Мы прошли заставу и направились прямо к кладбищу. Здесь сержант остановил нас на несколько минут, подав знак рукой, между тем как двое или трое из его людей рассыпались по тропинкам между могил и осмотрели паперть. Они воротились, не нашед ничего, и мы вышли на открытое болото, через боковую калитку кладбища. Тут нас обдало мелкою влагою, принесенною восточным ветром, и Джо взял меня на спину.

Теперь, когда мы вступили в эту унылую глушь, где я был часов восемь назад и видел обоих беглых, чего никто не предполагал, меня впервые поразила мысль, если мы наткнемся на них, то уж не подумает ли мой колодник, что я привел солдат? Ведь, он спрашивал меня: не вероломный ли я чертёнок, и сказал, что я был бы злой шенок, если б стал преследовать его вместе с другими. Не подумает ли он теперь, что я и подлинно чертёнок и собака, и что я выдал его? Но было бесполезно предлагать себе подобные вопросы: я был на спине у Джо, Джо был подо мною, перескакивая через ямы, как охотничья лошадь, и убеждая мистера Уопсея не падать на свой римский нос и не отставать от нас. Солдаты шли впереди, вытянувшись в одну длинную шеренгу, на дистанции один от другого. Мы шли по той дороге, по которой я шел утром и с которой сбился по причине тумана. Теперь тумана не было: он еще не появился, или ветром успело рассеять его. При багровом блеске солнечного заката, вежа и виселица, вал батареи и противоположный берег реки были ясно видны, хотя в какой-то водянистой, свинцовой полутени. Сердце мое билось, как кузнечный молот, о широкое плечо Джо, пока искал я по сторонам признаков присутствия каторжников. Но их не было ни видно, ни слышно. Мистер Уопсель не раз сильно пугал меня своим сопеньем и одышкой; но под конец я свыкся с этими звуками и мог различить их от звуков, которые опасался услышать. Вдруг я вздрогнул: мне послышался визг напилка; но оказалось, что это колокольчик на овце. Овцы перестали щипать траву и боязливо поглядывали на нас; все стадо, повернувшись спиной к дождю и ветру, злобно уставило на нас глаза, как будто считая нас виновниками того и другого. Кроме медленного движения пасшегося стада, при мерцавшем свете замиравшего дня, ничто не нарушало леденящего спокойствия болот.

Солдаты подвигались по направлению к старой батарее, а мы шли за ними в небольшом расстоянии, как вдруг мы все остановились: ветром принесло к нам протяжный крик. Крик этот, громкий и пронзительный, повторился вдалеке: в нем слышалось несколько голосов.

Сержант и ближайшие к нему люди рассуждали шепотом, когда мы с Джо подошли к ним. Послушав их с минуту, Джо, хороший знаток дела, согласился с ними, и мистер Уопсель, плохой знаток, также согласился. Сержант, человек решительный, приказал своим людям не отвечать на крик, но переменить дорогу и идти беглым шагом по направлению, откуда он слышался. Вследствие этого, мы пошли фланговым движением направо, и Джо так зашагал, что я должен был крепко держаться, чтоб усидеть у него на плечах.

Мы теперь просто бежали или, как выразился Джо, который только эти слова и произнес во всю дорогу: – это был настоящий вихрь. С холма на холм, через плетни, мокрые рвы, хворост – словом, никто не разбирал, куда ступал. По мере приближения к месту, откуда слышались крики, становилось все яснее, что кричало несколько голосов. По временам, крики умолкали, тогда и солдаты останавливались. Когда голоса снова раздавались, они бросались вперед еще с большею поспешностью, и мы за ними. Пробежав несколько времени таким образом, мы могли расслышать один голос, кричавший: «режут», а другой – «каторжники! беглые! Караул! Сюда! Здесь беглые каторжники!» Затем голоса, как будто заглушались в борьбе и потом снова раздавались. После этого солдаты мчались, как испуганный зверь, а за ними и Джо со мною. Первый добежал сержант, вслед за ним двое из его людей. Когда мы догнали их, то у них уж были взведены курки. «Вот они оба!» закричал сержант, спустившись в ров. «Сдавайтесь, проклятые звери! Чего сцепились?»

Брызги и грязь летела во все стороны; раздавались проклятия и удары. Еще несколько человек спустилось в овраг, чтоб помочь сержанту, и вытащили оттуда порознь, моего каторжника и его товарища. Оба были в крови, запыхавшись, и посылали друг другу проклятия. Разумеется, я тотчас узнал обоих. «Не забудьте» – сказал мой колодник, оборванным рукавом своим утирая с лица кровь и отрясая с пальцев клочья вырванных волос: «я взял его! Я выдаю его вам – помните это!»

– Нечего тут распространяться, – сказал сержант: – это немного принесет тебе пользы, любезный, так как ты попался с ним в одну беду. Давайте сюда колодки!

– Я и не ожидаю себе никакой пользы. Мне и не надо лучшей награды, чем то, что теперь чувствую, – ответил мой каторжник со злобным смехом. – Я взял его – он это знает: с меня довольно.

Другой каторжник был бледен, как мертвец и, вдобавок к прежде избитой левой стороне лица, теперь, казалось, был весь избит и оборван. Он не мог собраться с духом, чтоб заговорить, пока они оба не были скованы порознь, и опирался на солдата, чтоб не упасть.

– Заметьте, сержант, что он покушался убить меня! – были первые слова его.

– Покушался убить его? – произнес мой каторжник презрительно.

– Покушался и не исполнил? Я взял его и теперь выдаю – вот что я сделал. Я не только помешал ему уйти из болот, но притащил его сюда в то время, как он уже утек. Ведь, эта каналья – джентльмен; теперь, по моей милости, на галеры опять попадет, джентльмен. Убить его? Очень нужно мне было убивать его, когда я мог сделать гораздо лучше, снова упрятать его туда!

Другой же все повторял, задыхаясь:

– Он пытался... он пытался... убить... меня. Будьте свидетелями.

– Послушайте, – сказал мой каторжник сержанту: – я собственными средствами бежал из тюрьмы; я точно так же мог бы удрать из этих убийственных болот; взгляните на мою ногу: не много на ней железа. Но я нашел его здесь. Дать ему уйти на волю? Дать ему воспользоваться найденными мною средствами! Быть снова и вечно его орудием! Нет, нет, нет! Если б я погиб там, на дне. – И он своими скованными руками драматически указал на овраг: – я так крепко впился бы в него когтями, что и тогда вы наверное нашли бы его в моих руках.

Другой беглец, который видимо сильно боялся своего товарища, все повторял:

– Он пытался убить меня. Я бы не остался в живых, если б вы не подоспели.

– Он лжет! – с дикой энергией воскликнул мой колодник. – Он родился лжецом и умрет им. Взгляните на его лицо: разве это не написано на нем? Пускай он взглянет мне в глаза, мерзавец – не посмеет.

Другой пытался скорчить презрительную улыбку, которая, впрочем, не могла придать никакого постоянного выражения нервно-судорожным движениям его рта; посмотрел на солдат, на окружавшие болота, на небо, но не посмел взглянуть на говорившего.

– Видите ли, – продолжал мой каторжник: – видите ли, какой он мерзавец? Видите вы эти блуждающие, нерешительные взоры? Вот так смотрел он, когда нас с ним судили. Он ни разу не взглянул на меня.

Другой, продолжая работать своими сухими губами и боязливо оглядываться, наконец, на минуту обратил глаза на говорившего с словами:

– Не слишком-то любо на тебя смотреть, – и бросил полупрезрительный взгляд на свои скованные руки.

При этом мой каторжник пришел в такое бешенство, что он непременно бросился бы на товарища, если б солдаты не удержали его.

– Разве я не говорил вам, – сказал тогда другой каторжник: – что он убил бы меня, если б мог? И все могли заметить, что он трясся от страха, что на губах его выступили странные белые пятна, подобные снежной плеве.

– Довольно этой перебранки! – сказал сержант. – Зажгите факелы!

В то время как один из солдат, который нес корзину, вместо ружья, стал на колени, чтоб открыть ее, мой каторжник в первый раз взглянул вокруг себя и увидел меня. Я слез со спины Джо на окраину оврага, когда мы пришли и с тех пор не пошевелился. Я пристально посмотрел на него в то время, как он взглянул на меня, и потихоньку сделал знак рукой и покачал головой. Я ждал, что он снова посмотрит на меня, чтоб постараться предупредить его в моей невинности. Ничто не доказывало мне, что он понял мое намерение, потому что он бросил на меня непонятный взгляд. Все это продолжалось одно мгновение. Но смотри он на меня целый час или целый день, то я не припомнил бы, чтоб лицо его когда-либо выражало столь сосредоточенное вникание.

Солдат скоро высек огня и зажег три или четыре факела, взял один из них и роздал другие. До сих пор было почти темно, но теперь показалось совершенно темно, а немного спустя и очень темно. Прежде нежели мы двинулись в путь, четыре солдата стали в кружок и выстрелили дважды на воздух. Вслед за этим, мы увидели, что засверкали другие факелы в некотором расстоянии за нами, в болотах, по ту сторону реки.

– Ладно, – сказал сержант: – марш!

Мы отошли несколько шагов, как над нашими головами раздались три пушечные выстрела с таким громом, что мне показалось, будто у меня порвалось что-то в ушах.

– Вас ожидают на понтоне, – сказал сержант. – Там уже знают, что вы приближаетесь. Не отставай, любезный. Идите теснее.

Каторжники были разлучены, и каждый из них шел под особым караулом. Я теперь держал Джо за руку, а он нес один из факелов. Мистер Уопсель был того мнения, что следовало вернуться, но Джо решил досмотреть до конца, итак мы пошли вместе с другими. Теперь нам приходилось идти по изрядной тропинке, большею частью вдоль берега реки, с небольшими отклонениями в сторону, в местах, где попадались плотины с небольшими ветряными мельницами и грязными шлюзами. Оглянувшись, я заметил, что другие огоньки следовали за нами. Наши факелы бросали большие огненные брызги на дорогу, лежавшие на ней, догорая и дымясь. Я ничего не различал, кроме черного мрака. Огни наши своим смолистым пламенем согревали вокруг нас воздух, к видимому удовольствию наших пленников, прихрамывавших посреди ружей. Мы не могли идти скоро, по причине их увечья. Они так были изнурены, что мы два или три раза должны были делать привалы, чтоб дать им отдохнуть.

После часа подобного путешествия, или около того, мы достигли грубой деревянной лачужки у пристани. В лачужке был караул, который нас окликнул. Сержант откликнулся и мы вошли. Здесь мы почувствовали сильный запах табаку и известки, и увидели яркое пламя, лампу, стойку с ружьями, барабан и низкую деревянную кровать, похожую на огромный каток без механизма, на котором могло поместиться разом около дюжины солдат. Три

или четыре солдата, лежавшие на ней в своих шинелях, казалось, не слишком интересовались нами; они только приподняли головы, устремили на нас сонный взгляд и потом снова улеглись. Сержант представил нечто в роде рапорта, занес его в свою книгу и затем, тот каторжник, которого я называю другим каторжником, был уведен с своим караулом, и переправлен на понтон. Мой колодник не глядел на меня. Пока мы были в лачужке, он стоял перед огнем, задумчиво глядя на него и ставя попеременно, то одну ногу, то другую на решетку, и в раздумье глядел на присутствующих, будто жалея их за недавно испытанную усталость. Вдруг он обратился к сержанту:

– Я желаю сообщить нечто относительно моего побега: это может избавить кой-кого от подозрения, под которым они находятся по моей милости.

– Вы можете говорить что хотите, – возразил сержант, который стоял, глядя на него равнодушно, с сложенными руками: – но вас никто не просит говорить здесь. Вы будете иметь довольно случаев говорить и слышать об этом прежде, нежели покончат с вами.

– Я знаю; но это другой вопрос, совершенно особое дело. Человек не может околеть с голода; по крайней мере я не могу. Я нашел себе пищу в той деревне, там, наверху – где церковь выдается на болото.

– Вы хотите сказать, что вы украли? – сказал сержант.

– И я скажу вам у кого. У кузнеца.

– Вот как! – сказал сержант, пристально глядя на Джо.

– Ого, Пип! – сказал Джо, глядя на меня.

– То были какие-то объедки, штоф водки и пирог.

– А что, пропадал у вас пирог, кузнец? – спросил сержант вполголоса.

– Жена моя заметила, что он исчез в ту самую минуту, как вы вошли. Помнишь Пип?

– А! – сказал мой каторжник, обратив угрюмый взор на Джо и не взглянув на меня: – так это вы кузнец? В таком случае мне очень жаль, но я должен признаться, что съел ваш пирог.

– На здоровье. Видит Бог, я на вас не пеняю за это, по крайней мере, на сколько пирог когда-либо принадлежал мне, – прибавил Джо, вспоминая и тут о Мистрис Джо: – мы не знаем вашей вины, но мы никак не хотели бы, чтобы вы за это умерли с голоду, кто бы вы ни были, несчастный человек. Не правда ли, Пип? Неопределенный звук, который я уже раз заметил, снова послышался у незнакомца в горле и он повернулся к нам спиной. Лодка ворочилась, караул был готов; мы последовали за ним на пристань, убитую камнем и грубыми сваями, и видели как его посадили в лодку, на которой был ряд гребцов из таких же каторжников, как он сам. Казалось, никто из них не был удивлен или обрадован, огорчен или заинтересован при виде его. Все молчали. Наконец раздалось грубое приказание, будто собакам: «Отваливай!» и вслед за этим каторжники взмахнули веслами. При свете факелов мы увидели черный понтон, стоявший на якоре в небольшом расстоянии от берега, как зловещий Ноев ковчег. Обшитый железом, связанный болтами и укрепленный тяжелыми заржавленными цепями, этот тюремный корабль, казалось, был скован, как и заключенные в нем преступники. Мы видели, как лодка подошла к нему, как моего преступника взяли на борт и как он скрылся. Тогда обгорелые концы факелов были брошены в воду, зашипели и погасли, как будто и с ними все кончилось.

VI

Чувства, возбужденные во мне воровством, которое так счастливо сошло мне с рук, ни мало не побуждали меня к откровенности; но я надеюсь, что в основании их лежала своя частичка добра.

Я не запомню, чтобы чувствовал угрызения совести относительно мистрис Джо, когда гроза миновала. Но Джо я любил, быть может, потому, что в те юные годы он не отталкивал моей любви и мне совестно было обманывать его. Несколько раз (особенно когда я увидел, что Джо ищет свой напилек) я готов был сказать ему всю правду. И все же не решался, боясь, чтоб Джо не получил слишком дурное обо мне мнение. Язык мой связывало опасение лишиться доверенности Джо, и потом проводить длинные скучные вечера у камина, глядя тоскливо на прежнего товарища, теперь от меня отшатнувшегося. Я полагал, что если раскрою перед Джо свою тайну, то всякий раз, когда он станет задумчиво расправлять свои бакенбарды, мне будет казаться, что он думает именно о моем проступке; всякий раз, когда у нас на столе появится вчерашнее жаркое или пудинг, мне будет казаться, что Джо, глядя на него, раздумывает: был ли я сегодня в кладовой или нет? и всякий раз, когда он станет жаловаться, что пиво его или слишком жидко или слишком густо, мне будет казаться, что он подозревает в нем присутствие дегтя – и я буду невольно краснеть... словом, я был слишком труслив, чтобы исполнить долг мой теперь, как прежде из трусости решился на проступок. Я не имел никаких сношений с светом и потому не мог действовать из подражания его многочисленным деятелям, поступающим подобным образом. Гений-самоучка, я изобрел этот образ действия без посторонней помощи.

Мы не успели далеко отойти от понтона, как я уже почти спал, и потому Джо взвалил меня к себе на плечи и так донес до дома. Должно быть весь обратный путь был неприятен, потому что мистер Уопсель очень изнурился и был в таком настроении духа. Будь только духовное поприще для всех открыто, он непременно предал бы проклятию всю экспедицию, начиная с Джо и меня; но, как человек недуховный, он упорно отказывался идти вперед прежде, чем порядочно отдохнет, и действительно, так неумеренно долго сидел на сырой траве, что когда, возвратившись домой, он снял и повесил сушиться свой сюртук, штаны его представляли такую неоспоримую улику, что она непременно привела бы его к виселице, будь его вина уголовная.

Очутившись вдруг на полу, в светлой и теплой кухне, и пробужденный дружным говором всего общества, я долго не мог очнуться и, как пьяный, едва держался на ногах. Когда я пришел в себя, при помощи здорового пинка в шею и, протрезвляющих слов моей сестры: «Ну, есть ли на свете другой такой мальчишка?» я услышал, что Джо рассказывал о признании беглого, и все строили различные предположения о том, каким образом он попал в кладовую. Мистер Пёмбельчук, тщательно осмотрев местность, решил, что он прежде всего взлез на крышу кузницы, оттуда перебрался на крышу дома и потом, посредством веревки, скрученной из простынь, спустился в кухонную трубу, и так как Пёмбельчук утверждал это очень положительно и так как он имел к тому же собственную одноколку, в которой разъезжал и дивил народ, то все согласились, что он прав. Правда, мистер Уопсель, с мелочною злобою утомленного человека, свирепо прокричал: «нет», но никто не обратил на него внимания, так как в подкрепление своих слов, он не мог представить никакой теории и, к тому же, был без сюртука, не говоря уже о спине, обращенной к огню, из которой пар так и валил.

Это было все, что я успел услышать в этот вечер. Мои сестра схватила меня, как сонное оскорбление обществу, и так грубо потащила меня спать, что мне показалось, будто на ногах у меня болталось с полсотни сапог, которые бились и цеплялись о каждую ступеньку лестницы.

То умственное настроение, которое я описывал выше, началось для меня с следующего утра и продолжалось долго-долго, когда уже все забыли об этом деле, и разве только случайно возвращались к нему.

VII

В то время, когда я разбирал подписи на семейных могилах, я умел только читать по складам. Даже смысл, который я придавал этим простым, нехитрым словам, не был очень точен. Так, например, слово «вышереченный» я принимал за весьма лестный намек на то, что мой отец переселился в лучший мир; и если б в отзыве об одном из моих родственников стояло слово «нижереченный», то я был бы самого дурного о нем мнения. Богословские понятия, почерпнутые мною из катехизиса, также не были очень ясны. Я живо помню, что слова «Ходити в путех сих во вся дни живота моего», по моему мнению, обязывали меня проходить всю деревню по известному направлению, не сворачивая ни на шаг с указанного пути.

Достигнув порядочного возраста, я должен был поступить в ученье в Джо, а до тех пор – говорила мистрис Джо – меня не следовало баловать и нежить.

На этом основании я не только находился в качестве рассыльного мальчика при кузнице, но и всякий раз, когда кому-нибудь из соседей понадобится сверхштатный мальчик, чтоб гонять птиц, подбирать камни или исполнять какую-нибудь другую столь же приятную службу, я был к их услугам; но, чтоб не скомпрометировать этим нашего почтенного положения в обществе, в кухне над камином постоянно красовалась копилка, в которую, как всем было известно, опускались мои заработки. Я имел подозрение, что, в чрезвычайных случаях, они шли на уплату государственного долга, и не надеялся когда-нибудь воспользоваться этим сокровищем.

Тётка мистера Уопсея содержала в нашей деревне вечернюю школу или, лучше сказать, эта смешная, убогая старушонка, с весьма ограниченным состоянием, имела обыкновение спать каждый вечер от шести до семи часов в обществе молодёжи, платившей ей за это назидательное зрелище по два пенса в неделю. Она нанимала целый маленький коттедж, мезонин которого занимал мистер Уопсель, и мы нередко слышали, как он читал там вслух самым торжественным и ужасающим образом, топая по временам ногою, так что у нас дрожал потолок. Существовало поверье, что мистер Уопсель экзаменует учеников каждую четверть года; но он в этих случаях ограничивался только тем, что засучивал обшлага своего сюртука, взъерошивал волосы и читал нам речь Марка Антония над трупом Цезаря. За этим немедленно следовала ода к страстям, Коллинса; мистер Уопсель особенно приводил меня в восторг в роле Мести, когда она с громом бросает на землю окровавленный меч и с тоскливым взглядом берется за трубу, чтоб возвестить войну. Тогда было другое дело, не то, что после, когда я в жизни узнал настоящие страсти и сравнил их с Коллинсом и Уопселем, конечно, не к чести того и другого.

Тётка мистера Уопсея, кроме училища, держала еще в той же комнате мелочную лавочку. Она не имела понятия о том, что у нее было в запасе и по каким ценам; только маленькая засаленная записная книжка, всегда хранившаяся у нее в ящике, служила прейскурантом. По этому оракулу Биди справляла все торговые операции. Биди была внучка тётки мистера Уопсея. Я открыто каюсь, что не в силах разрешить задачи: в каком родстве она находилась к мистеру Уопселю.

Как я, она была сирота; как я вскормлена от руки. Изо всей ее наружности прежде всего бросались в глаза оконечности: волосы ее были не чесаны, руки не мыты, башмаки разодраны и стоптаны на пятках. Разумеется, описание это относится только к будничным дням; по воскресеньям она ходила в церковь, распичужившись как следует.

Своими собственными усилиями и при помощи скорее Биди, чем тётки мистера Уопсея, я пробивался сквозь азбуку, как сквозь частый, колючий кустарник, утомляясь и безмилосердно уязвляя себя колючками. Затем я попал в руки этих разбойников – девяти цифр,

которые, кажется, всякий вечер принимали новые образы, чтоб окончательно сбивать меня с толку; но наконец, я начал читать, писать и считать, но как-то ошупью и в весьма малых размерах.

Как-то раз, вечером, сидя в углу у камина, с грифельною доскою в руках, я употреблял неимоверные усилия, чтоб сочинить письмо к Джо. Должно быть, это было ровно чрез год после нашей охоты за колодниками, так как с тех пор уже прошло много времени и на дворе стояла зима с жестокими морозами. С азбукою у ног моих, для справок, я чрез часов, или два, успел не то написать, не то напечатать письмо к Джо:

«моИ милЛОИИ ЖО я наДЮС тЫ Сои 7 сДороФ я сКРО ВудЮ УМет уч и Т Б ЖО И таДа будит ОЧн всЭлО И Ко Да Я БУДЮ ВУчени И УТБ ЖО Т Б мНоГО ЛюбиЩ ТБ ПиП.»

Никто не принуждал меня, переписываться с Джо, тем более что он сидел рядом со мною и мы были одни; но я собственноручно передал Джо свое послание (доску и все припасы), и он принял его за чудо знания.

– Ай-да, Пип, старый дружище! – сказал Джо, широко раскрыв свои голубые глаза. – Да какой же ты у меня ученый!

– Хотел бы я быть ученым, – сказал я, бросив вскользь нерешительный взгляд на доску; мне показалось, что писание мое шло немного в гору.

– Как, да вот тут Ж, – сказал Джо: – а вот и О, да и какое еще! Вот те, Ж и О, Пип, Ж – О – Джо.

Никогда не слыхал я, чтоб Джо разбирал что-нибудь, кроме этого односложного слова, а прошлое воскресенье я заметил, что он в церкви и не спохватился, когда я нечаянно повернул молитвенник вверх ногами. Желая воспользоваться этим случаем, чтоб разузнать придется ли мне учить его с азов, я сказал:

– Да прочти же остальное, Джо.

– Остальные, Пип? – сказал Джо медленно, чего-то доискиваясь в моем писании. – Один, два, три, да вот тут три Ж и три О, как раз три Джо, Пип.

Я наклонился через плечо Джо и, тыкая пальцем, прочел письмо сполна.

– Удивительно! – сказал Джо, когда я кончил. – Да ты, брат, *совсем* ученый.

– А как ты складываешь Гарджери, Джо? – спросил я скромным, но покровительствующим тоном.

– Как я складываю? Да я совсем не складываю; – сказал Джо.

– Ну, положим, ты вздумал бы складывать?

– Да это и положить нельзя, – сказал Джо. – Хотя я страсть как люблю читать.

– Не-уже-ли, Джо?

– Страсть как люблю. Дай мне только хорошую книгу или хорошую газету и посади меня к камину, я и не прошу ничего лучшего. Боже ты мой! – продолжал он, потирая себе колени. – Наткнешься этак на Ж, а там на О и говоришь себе, вот это значит Джо – чрезвычайно приятно!

Из этих слов я заключил, что образованность Джо, как применение пара, находится еще в младенчестве. Затем я спросил у него:

– Ходил ты в школу, Джо, когда был моих лет?

– Нет, Пип.

– Зачем же ты не ходил?

– Видишь ли, Пип, – сказал Джо, взяв в руки лом и разгребая в камине красные уголья, что у него всегда означало внутреннюю, умственную работу. – Видишь ли, Пип, я тебе сейчас все расскажу. Отец мой любил выпить; а как выпьет, бывало, так и начнет колотить мать; безбожно колотил он ее, да и мне порядком доставалось; кажись, он почище отработывал меня, чем железо на наковальне. Понимаешь, Пип?

– Да, Джо.

– Ну, видишь ли, вот мы с матерью возьмем да и сбежим из дому; мать моя отправится на заработки и скажет мне: «Джо, вот, благодари Бога! ты попадешь теперь в школу, мальчик». И сведет она меня в школу. Но у отца была своя хорошая сторона: не мог, сердечный, жить без нас. Пойдет он, бывало, соберет толпу народа и подымет такой гвалт у дверей дома, где мы скрывались, что хозяева поневоле выдадут нас, только бы отделаться от него. А он заберет нас домой да и пойдет лупить по-старому. Вот сам теперь видишь, – добавил Джо, переставая на минуту разгребать огонь: – вот это и было помехою моему ученью.

– Конечно, бедный Джо.

– Однако, Пип, – сказал Джо, проведя раза два ломом по верхней перекладине решетки: – всякому следует отдавать справедливость, всякому свое, и мой отец имел свою хорошую сторону, видишь ли?

Я этого не видел, но не стал ему поперечить.

– Ну, – продолжал Джо: – кому-нибудь да надо поддерживать огонь под котлом, иначе каши не сварить, сам знаешь.

Это я знал, и потому поддакнул.

– Следовательно, отец не противился, чтоб я шел на работу, итак я начал заниматься моим теперешним ремеслом, которое было бы и его поныне, если б он не бросил его. Я работал много, право много, Пип. Со-временем я был в состоянии кормить его и кормил до тех пор, пока его унес паралич. Я намерен был написать на его надгробном камне:

Каков бы он ни был, читатель,
Доброта сердца была его – добродетель.

Джо прочел эти стишки с такою гордостью и отчетливостью, что я спросил, уже не сам ли он их сочинил.

– Сам, – ответил Джо: – без всякой помощи. И сочинил я их в одно мгновение, словно целую подкову одним ударом выковал. Никогда в свою жизнь не был я так удивлен, глазам не верил, по правде сказать; я даже начинал сомневаться, точно ли я их сам сочинил. Как я уже сказал, я намеревался вырезать эти слова на гробнице; но вырезать стихи на камне – будь они там мелко или крупно написаны – дорого стоит, потому я и не исполнил своего намерения. Не говоря уже о расходах на похороны, все лишние деньги были нужны моей матери. Она была слаба здоровьем и скоро последовала за отцом; пришла и ей очередь отойти на покой.

Глаза Джо покрылись влагою; он утер сначала один, потом другой глаз закругленным концом каминного лома.

– Скучно и грустно было жить одному, – продолжал Джо. – Я познакомился с твоей сестрой. Ну, Пип, – и Джо решительно посмотрел на меня, как бы ожидая возражения: – надо сказать, что твоя сестра красивая женщина.

На лице моем невольно выразилось сомнение и, чтоб скрыть это, я отвернулся, к камину.

– Что там ни говори семья, или хоть весь свет, Пип, а сестра твоя кра-си-вая женщина! Каждое из этих слов сопровождалось ударом лома о верхнюю перекладинку каминной решетки.

Я не сумел сказать ничего умнее, как:

– Очень рад слышать, Джо, что ты так думаешь.

– И я тоже, – подхватил Джо: – я очень рад, что так думаю, Пип. Что мне до того, что она больно красна и костлява немного?

Я очень остроумно заметил, что если ему не было до этого дела, то кому же и было?

– Конечно, – подтакнул Джо. – В том-то и дело. Ты совершенно прав, старый дружище! Когда я познакомился с твоей сестрою, только и было речи о том, как она тебя кормила от

руки. Очень мило с ее стороны, говорили все, и я говорил то же. Что же касается до тебя, – продолжал Джо с выражением, будто видит что-то очень противное: – если б ты мог только себе представить, как слаб, мал и тщедушен ты был тогда, то право составил бы очень дурное о себе мнение.

Не очень довольный его словами, я сказал:

– Ну, оставьте меня в стороне.

– Однако, тогда я не оставил тебя, – сказал он с трогательною простотою: – когда я предложил твоей сестре сделаться моею сожительницею, обвенчавшись со мною в церкви, и она согласилась переселиться на кузницу, я сказал ей: «Возьмите с собою и мальчика, Господь благослови его! найдется и для него местечко на кузнице».

Заливаясь слезами, бросился я на шею Джо, прося у него извинения; Джо выпустил из рук лом и, обняв меня, сказал:

– Век были и будем образцовые друзья – не так ли, Пип? Ну, полно плакать, старый дружище!

Спустя несколько минут, Джо продолжал:

– Ну, видишь ли, Пип, вот в том-то и дело, в том-то и дело. Когда ты, значит, примешься учить меня (хотя я наперед должен сказать, что мне это учение смерть как надоедает), так надо устроиться так, чтоб мистрис Джо ничего не знала. Следует это делать украдкою. А зачем украдкою? – я сейчас скажу.

И он опять взял в руки лом, без которого, кажется, ничего важного не мог сказать.

– Твоя сестра предана правительству.

– Предана правительству, Джо?

Я был поражен этими словами и возымел смутное подозрение (по правде сказать, даже надежду), что Джо разведется с моей сестрою и что она скоро делается женою какого-нибудь лорда адмиралтейства или казначейства.

– Предана правительству... – сказал Джо. – Я хочу сказать, что она любит властвовать над нами.

– А!

– И она не очень-то будет довольна иметь ученых под командою, – продолжал Джо: – особенно разозлится, коли узнает, что я вздумал учиться; чего доброго, подумает, что я намерен восставать против нее, как бунтовщик какой, понимаешь?

Я хотел спросить у Джо объяснения, но не успел еще выговорить: «зачем же», как он перебил меня:

– Постой! постой, Пип; я знаю, что ты хочешь сказать; погоди минутку. Я знаю, что твоя сестра под час тиранствует над нами не хуже любого могола. Иной раз она действительно так наляжет, что, того и гляди, придушит. В такие минуты, – прибавил он, почти шепотом и боязливо поглядывая на дверь: – в такие минуты она, по правде сказать, сущая ведьма.

Джо произнес последнее слово, как будто оно начиналось двенадцатью В.

– Зачем же я не восстану? вот что ты хотел сказать, Пип, когда я тебя перебил.

– Да, Джо.

– Ну, Пип, – сказал Джо, взяв лом в левую руку, а правую расправляя свои бакенбарды...

Увидев эти приготовления, я начал терять надежду добиться от него толку.

– Сестра твоя – голова... У-у, какая голова! – кончил он.

– Это что? – спросил я, в надежде его озадачить.

Но Джо нашел определение гораздо скорее, чем я ожидал, и совершенно поставил меня в тупик своим непреложным доводом, сказав с выразительным взглядом: «это она!»

– А я далеко неумен, – продолжал он, опустив глаза и принимаясь снова расправлять свои бакенбарды. – Да и наконец, Пип, старый дружище, я тебе не шутя скажу: довольно я

нагляделся, как моя бедная мать унижалась а рабствовала, и не знала покоя целую жизнь. Меня просто страх берет идти наперекор женщине; из двух зол уж лучше мне самому побеспокоиться маленько. Хотел бы я только все на своих плечах выносить, чтоб тебе, старый дружище, не перепадало. Не все на сем свете цветочки, Пип; нечего отчаиваться.

Как ни был я молод, а мне кажется, с того вечера я стал питать еще более уважения к Джо.

— Однако, — сказал Джо, вставая, чтоб прибавить топлива в камин: — вот уже часы скоро пробьют восемь, а ее еще нет! Надеюсь, кобыла дяди Пёмбельчука не поскользнулась на льду и не вывалила их.

Мистрис Джо езжала иногда в город с дядей Пёмбельчуком, преимущественно в рыночные дни, чтоб помочь ему при покупке таких вещей и припасов, которые требовали женского глаза; дядя Пёмбельчук был холостяк и не полагался на свою экономку. Был именно рыночный день, и мистрис Джо выехала на подобную экспедицию.

Джо развел огонь, смахнул золу и пепел с очага и пошел к двери послушать, не едет ли одноколка дяди Пёмбельчука. Ночь была ясная, холодная; дул резкий ветер, и жестокий мороз забелил землю. Мне казалось, что провести подобную ночь на болоте, значило бы идти на верную смерть. И когда я взглянул на звездное небо, мне пришла в голову мысль, как ужасно должно быть положение человека, который, замерзая, тщетно стал бы обращать умоляющий взор к этим блестящим светилам, ища помощи или сострадания.

— А вот и кобыла бежит! — сказал Джо. — Слышь, как звенят ее копыта, словно колокольчики.

И действительно, приятно было слышать дружные удары подков о твердую, замерзшую землю. Мы вытащили стул, чтоб пособить мистрис Джо выйти из экипажа; развели огонь, чтоб он весело светил в окно и окинули взглядом всю кухню, чтоб убедиться, что все в порядке и на месте. Мы были готовы их встретить, когда они подъехали, закутанные до ушей. Мистрис Джо скоро сошла на твердую землю; Пёмбельчук уже возился вокруг своей кобылы, накрыв ее попоною; и мы все вошли в кухню, внося с собою столько холоду, что, казалось, самый огонь остыл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.